# Юрий Маркович Нагибин

# Заступница

###### *Повесть в монологах*

## 1

*Архив III отделения. Полутемно, сыро и смрадно. Во всю ширину и вышину стен тянутся полки, на них тесно стоят папки с «Делами». Едва тлеет камин. У небольшого столика с шандалом о три коптящих свечи трудится тщедушный плешивый старик в поношенном статском сюртуке –* ***архивариус.*** *Он просматривает какие‑то бумаги и делает записи в толстой потрепанной книге. Дверь отворяется, входит ладный, с ловкими движениями человек в голубом жандармском мундире с генеральскими эполетами. У него высокий, чуть скошенный лоб, светлые волосы, цепкий насмешливый взгляд. Это – знаменитый* ***Леонтий Васильевич Дубельт*** *. Следом за ним* ***жандарм*** *вносит толстенные папки.*

*Архивариус вскакивает. Его зримо трясет. Лицо искажено раболепным страхом.*

*Дубельт* (*приветливо* ). Здравствуйте, почтенный Павел Николаевич! Да не тряситесь так. Экой же, право, робкий!.. *(Показывает жандарму на стол* .) Клади сюда. Да аккуратнее, безрукий! Небось Пушкина дело, а не Ваньки Каина. Хотя у Ваньки оно, знать, было тоньше. Обожди за дверью.

*(Жандарм выходит.)*

Садитесь, садитесь же, Павел Николаевич, что вы передо мной, как лист перед травой? *(Архивариус громко икает. Дубельт брезгливо морщится).*

Опять икота одолела?.. Вы никак селедкой завтракали, да и с лучком. Экий, право, гурман!.. Ну‑ка, сядьте подальше и дышите в сторонку. Терпеть не могу луковый запах, особенно по утрам.

*(Архивариус подчиняется. Дубельт берет колченогий стул, усаживается.)*

А знаете, Павел Николаевич, вы могли бы большую карьеру сделать, если б государю на глаза попались. Он страсть трепет ценит. Знаете, как граф Клейнмихель в случай попал? При первой встрече с императором так разволновался и ослабел, что его замутило. Все решили – конец голубчику, а государь только поморщился и осведомиться изволил, часто ли случается с его верноподданным подобное. Нет, только при виде его императорского величества, от сильного трепета и усердия. Столь уважительная слабость польстила государю, он приблизил и возвысил Клейнмихеля. Раз как‑то граф удержал дурноту, и это вызвало приметное неудовольствие. Государь засомневался в его преданности. Но Клейнмихель быстро исправил ошибку. Ныне он самое доверенное лицо государя, после, разумеется, нашего шефа графа Бенкендорфа. А у вас, Павел Николаевич, козырь не многим слабее, чем у Клейнмихеля. *(Слышится какой‑то ржавый звук. Дубельт заинтересованно прислушивается и понимает, что это смех.* )

У вас есть чувство юмора. Оно поможет пережить разочарование: вам не сделать карьеры – вы икаете и трясетесь перед любым начальством, а надо лишь перед его величеством. В этом сила Клейнмихеля: со всеми – зверь, а перед государем – пес блюющий. Большое дело, любезный Павел Николаевич, иметь зримый порок, чтобы без подлой лести возвеличивать высочайшую особу. Граф Александр Христофорович государю еще ближе Кленыхина, как того в войсках кличут, а не испытывает дурноты, не икает, но рассеян противоестественно и при всей своей ловкости беспамятен и бестолков… да не тряситесь вы так, Павел Николаевич, нас же никто не слышит, а я на себя не донесу и вы не донесете – внимать крамольным речам столь же преступно, как и произносить. Спокойнее, Павел Николаевич, а то вы сроду икать не перестанете. А это неприлично для служащего столь высокого учреждения. Сам государь удостаивает нас своим посещением. Скромный труд наш на благо России «святым делом» называет. «Святое дело сыска»– доподлинные слова царя Николая.

И чего вам бояться, любезный Павел Николаевич, это вас должны бояться сильные мира сего. Кстати, вы не обращали внимания, что вас зовут, как государя, только наоборот? К чему бы сие? Знамение? Или примета скрытого родства? Об этом стоит подумать. Вы страшный человек, Николай Пав… тьфу, Павел Николаевич, ведь вы все про всех знаете. *(Обводит широким жестом хранилище.)* Мне известно, что вы не просто регистрируете поступающие к вам дела и по полкам их распределяете, на радость архивным мышам, а наивнимательнейше, от корки до корки штудируете. Память же у вас, почтеннейший, как у Гомера или Шекспира. Все помните, что не с вами было. А для чего вам это? Бескорыстная любознательность? Скорее желание убедиться, что знаменитые и знатные, коли видеть их с исподу, ниже последнего архивного червя. Тогда и чин ничтожный, и жалованье низкое, икота и трясучка, и вся впустую прожитая жизнь – не так уж мучительны. Вы интересный человек, Павел Николаевич, самый интересный после меня в этом заведении, и я люблю с вами разговаривать. Особенно потому, что вы молчите. Даете человеку выговориться. Я вас по‑своему уважаю, Павел Николаевич, – не за икоту, о нет, за сосредоточенную злобу, что держит вас здесь. Вы же давно могли уйти на пенсию и спокойно дотлеть, но ненасытное мстительное чувство сделало вас вечным узником смрадного подвала. Я с вами откровенен, как ни с кем другим, вам бессмысленно врать, вы если не впрямую, то косвенно узнаете подноготную каждого. Но вам неизвестно, что государь называет Александра Христофоровича Бенкендорфа ангелом. Шеф жандармов и впрямь ангел: весь лазурный, голубые чистые глаза, розовая кожа, ангельская кротость с одними, ангельский холод к другим. Последних неизмеримо больше. Вы никогда не задумывались, почему ангелы не могут любить? Впрочем, небожители идут по другому ведомству. Ангелы бесполы. Александр Христофорович – истинный ангел. А вот я не ангел и не блевун, у меня нет отчетливого, бьющего в нос ущерба, и мне не сделать первоклассной карьеры. В определенном смысле я ее уже сделал, могу подняться еще на ступень, когда граф Бенкендорф оставит свой пост, но его влияния не добьюсь. Не бывать мне ангелом нашего государя. Мешает ум, скрыть который гораздо труднее, чем кажется. И зачем ты, матушка, не ударила меня незаросшим темечком о косяк, был бы твой Леонтьюшко фельдмаршалом, первым министром или обер‑прокурором святейшего синода. Впрочем, стоит ли сетовать на судьбу, особенно в присутствии почтеннейшего Павла Николаевича, который не дорос и до таких скромных чинов? Но Павел Николаевич выше этого. И я, как ни удивительно, тоже выше. Для меня суть моих занятий важнее наград, званий и титулов, хотя все это важно для жизни и для самих занятий.

*(Со вздохом.)* Вот, Павел Николаевич, сдаю вам, быть может, величайшее из всех дел, какими занималась собственная его величества канцелярия, хотя касается оно особы весьма невысокого ранга. Тридцатишестилетний муж, глава семьи, знаменитый поэт, чья слава вышагнула за пределы России, довольствовался юношеским званием камер‑юнкера. Вот он, весь тут! *(Хлопает рукой по верхней папке.)* Тело Пушкина предано земле его другом Александром Тургеневым, а дело сдается мною в архив. И желательно сохранить сие от мышей и прочих скверных зверушек. Каждый, кто причастен к этому делу, обрел бессмертие, многим едва ли желательное. Итак, покончено таинственное дело, а до конца ли разгадано – кто знает? Даже я этого не знаю, хотя находился в самой гуще. Нет, не был я ни движущей пружиной, ни даже сколь‑нибудь важной частью сложного механизма, но и в стороне не остался. Говорю о том равно без гордости и без сожаления. Сейчас умы в разброде. Свет поделился на две неравные части. Большинство осуждает Пушкина и оправдывает Дантеса, иные даже рукоплещут красавцу эмигранту, что несколько странно с патриотической точки зрения; меньшинство же оплакивает Пушкина и проклинает его убийцу. И у всех на устах стихотворение юного корнета Лермонтова «На смерть поэта», с эпиграфом: «Отмщенье, государь, отмщенье!» Но я хотел не о том, добрейший Павел Николаевич. Смерть Пушкина вдруг обнаружила, что есть не только **свет** , чье мнение единственно важно, а такое странное, неощутимое и не упоминаемое в России образование, как **народ** . Считалось, что народ – это где‑то в европах, во Франции, в Англии, в цивилизованных странах, испытавших революционные потрясения. Мы думали – лишь с революцией масса неимущих, проще – толпа, становится народом. В России революции не было, но гибель национального поэта обнаружила, что существует народ. Не холопы, не смерды, не дворня, не работный люд, не голытьба, не городская протерь, не мещане, а именно **народ** . Иначе как назовешь те тысячи и тысячи, что осаждали дом Пушкина в дни его агонии, а затем по одному прощались с покойным, целуя его руку? Если б то были просто горожане да пригородные крестьяне, тело Пушкина не повезли бы тайком в Святые Горы. Но тут пробудилась и заявила о себе какая‑то новая, еще не сознающая самое себя сила. В известном смысле это страшнее, чем 14 декабря на Сенатской площади. Мятеж молодых аристократов не имел корней, недаром же солдаты не пошли за ними. Народ – вот самое страшное, что оставил нам Пушкин, а не богохульная «Гавриилиада», злые эпиграммы и крамольные стихи. Это понимают пока лишь самые проницательные, и прежде всего – государь. И все же дело завершено. Слава богу, иначе тлетворное влияние Пушкина росло бы с устрашающей силой. Мертвец, при всех оговорках, куда менее опасен. У людей короткая память, они позволяют себя отвлечь и развлечь, что куда проще, нежели осиливать живое воздействие громадной личности и могучего таланта. Второго Александра Сергеевича Пушкина в России не будет. Не сойдутся так больше звезды. Я равнодушен к стихам и прозе, признаю лишь исторические сочинения и мемуары тех, кто движет историю, но я понимаю, что такое Пушкин. И при этом ничуть не раскаиваюсь, что имел некоторую, пусть скромную, прикосновенность к закрытию этого дела. Есть ли тут противоречие? Ни малейшего. Великое государство Российское создавали не Пушкин, Гоголь или Грибоедов, а Иван III, Алексей Михайлович, Петр Великий с корыстными, но дельными соратниками, Екатерина, Румянцев‑Задунайский, Суворов, даже Сперанский при всех его просчетах и, разумеется, ныне здравствующий монарх, служилое дворянство, генералы, министры, высшие чиновники. Граф Клейнмихель, над которым тайком посмеиваются, важнее для России, чем насмешник Гоголь. Клейнмихель строит, а Гоголь разрушает. Граф угадал главное в наши дни: исполнительность. Лишь она противостоит хаосу, к коему тяготеет русская жизнь. Я хоть и Ду‑бельт, но ощущаю себя россиянином, всем сердцем, всей требухой привержен в этой стране, ее истории, вечному неустройству и потугам это неустройство одолеть, встать вровень с цивилизованными странами. И ведь есть к тому возможность, есть! Старушка Европа загнила и смердит, а тут молодые, свежие, нетронутые силы. Я не могу сочувствовать тем, кто препятствует серьезной государственной жизни России. А высший свет – вовсе не свора льстецов, выскочек, завистников, интриганов и сплетников, хотя и таких довольно, но прежде всего – опора самодержавия. И кто посягает на него, колеблет трон. А я на страже. Только, Павел Николаевич *(голос Дубельта звучит глубоко и серьезно)* , вот это действительно должно остаться между нами. Я не хочу, чтобы хоть одна живая душа знала, что я служу не ради чинов, крестов и лент, а ради идеи. Этого мне не простят. В награду за скромность я покажу вам некоторые материалы, которые никогда не поступят в ваш архив.

*Архивариус живо вскакивает и кланяется не без достоинства.*

*(Насмешливо.)* Мы с вами из одного теста – бессребреники… *(Вновь становясь серьезным.)* Одно меня угнетает. А что, если я ошибаюсь? И как раз Пушкин, Гоголь, Грибоедов и иже с ними строят Россию, а не политики и полководцы? Но нет, этому отказывается верить разум. Бумагомаратели, чего они стоят? А Радищев? Екатерина ополчилась на него, как на Пугачева, а эта государыня была великим политиком. И почему столько шума вокруг маленького курчавого камер‑юнкера, не имевшего ни одной награды, зато не раз ссылаемого, всячески унижаемого, гонимого? Почему царь стал его цензором? Не слишком ли много чести? Но к ничтожным делам цари не снисходят. Да нет, тут другое: обуздать дух разрушения. А почему в писании сказано: вначале бе слово, потом бе бог? Может, тут и коренятся сила и власть этих, ни силы ни власти не имеющих? А если так, то хороши же мы все!.. Нет, нет! Государство не в них, а в нас…

*Входит жандармский офицер и молча протягивает Дубельту листок.*

Браво, Щеглов, вы делаете успехи! Было бы худо, если б граф Бенкендорф получил это из других рук. Вы свободны?

*Жандарм выходит.*

*(Читает.)*

А вы, надменные потомки

Известной подлостью прославленных отцов,

Пятою рабскою поправшие обломки

Игрою счастия обиженных родов!

Вы, жадною толпой стоящие у трона,

Свободы, Гения и Славы палачи!

Таитесь вы под сению закона,

Пред вами суд и правда  – все молчи!..

Но есть, есть божий суд, наперсники разврата!

Есть грозный судия: он ждет;

Он не доступен звону злата,

И мысли и дела он знает наперед.

Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:

Оно вам не поможет вновь,

И вы не смоете всей вашей черной кровью

Поэта праведную кровь!

Шестнадцать строк. Но стоят иной поэмы. И кое‑кому будут стоить карьеры и даже судьбы. Михаил Павлович сказал о Лермонтове: «Этот заменит нам Пушкина». Великий князь попал точнее, чем мог думать. Нет сомнения, что эти строчки написаны лермонтовской рукой. Виден сокол!.. Стихотворение стало совсем другим. Зарвался мальчик! Боюсь, что отмщение государя обратится теперь вовсе не на Дантеса. Француз просто защитил себя от ревнивого и дерзкого камер‑юнкера, не дававшего ему покоя, да и не только ему. А этот корнет полоснул саблей по всему высшему обществу, по двору, и куда хуже – по особе государя, которому противопоставил бога. Как вы находите стихи, Павел Николаевич?

*Архивариус потрясенно разводит руками.*

Хороши, ничего не скажешь. Слишком хороши. О неиссякаемая Россия!

*Быстро входит жандармский офицер.*

*Жандарм.* Ваше превосходительство! Его величество государь император изволили пожаловать! В сопровождении их высокопревосходительства графа Бенкендорфа.

*Дубельт.* Возьмика‑ка, голубчик, вот все это *(показывает на груду папок, лежащую на столе).* Да, почтенный Павел Николаевич, лишаю вас на время преинтереснейшего чтения. Ничего не попишешь. Пушкина нет, а дело его живет! *(Выходит следом за жандармом.)*

## 2

*Февраль 1837 года. Петербургский дом Арсеньевой. Маленькая гостиная, хорошо и уютно обставленная, на стенах гравюры, акварели Лермонтова, несколько фамильных портретов в багетных рамах, среди них портрет покойной дочери хозяйки – Марии. В вазах свежие оранжерейные розы.*

***Арсеньева,*** *довольно высокая, с прямой спиной, бодрая старуха, седая и темноглазая, вводит в гостиную* ***Аграфену,*** *бывшую мамку Лермонтова, женщину примерно своих лет, но совсем дряхлую с виду, согбенную, с отечными ногами и шаркающей поступью.*

*Арсеньева.* Ходи веселей! Хватит притворяться, что тебя так растрясло, дорога по зимнику гладкая. До чего же все дворовые избалованные – спасу нет! Я старше тебя, а не шаркаю и не гнусь… В баньку сводили? Накормили хорошо?

*При этих отрывистых вопросах Аграфена кланяется и хочет поцеловать барыне руку, но та не позволяет.*

А ну, без глупостей! Здесь Петербург, не Тарханы. Барин молодой увидит – разгневается. Ах, Аграфена, тяжко мне с ним! До того тяжко!.. Люблю его больше жизни, каждое желание предупреждаю, а чей он – мой или чужой?.. Да садись же, садись, в ногах правды нет. Да и устала ты, старая. Садись вот тут. Сейчас велю тебе чаю крепкого дать с вареньем и сахарком, ты ведь сладкое любишь, и ромцу ямайского или бальзамца. Молчи, молчи, не лицемерь. Нешто не знаю, как по буфетам рыскаешь. Честна, честна – оставь тебе казну, копейкой не попользуешься, а винцо тайком вылакаешь. Ох, русские люди, русские люди! Чего только в нас не намешано: и доброта святая, и преданность, и к жертве любой готовность, и вороватость, и лукавство, и притворство, и к разбою склонность. Француз или немец – одной краской мазан, а наш – радуга, все цвета налицо. *(Подходит к двери, распахивает створки и чуть не сшибает с ног подслушивающую девушку.)* Зачем шпионишь? Что я – любовника прячу? Стара я для таких дел. Тьфу ты, из головы вон, – Аграфена же твоя крестная! Ну, поцелуйся с крестной и принеси ей чаю – живо! А наболтаться еще успеете, она никуда не денется. Здесь жить будет.

*Девушка обняла крестную и метнулась к двери. Арсеньева успевает дать ей звучный шлепок.*

Хороша натяжка у твоей крестницы, даже руку отшибла. Разучилась я тут бесстыдниц шлепать, а уж высечь и не мечтай. Для этого надо в часть посылать. Одно дело – доброй материнской рукой проучить, другое – своего человека к чужим на правеж послать. А ну‑ко Михаил Юрьевич проведает, для него это как нож вострый. Не может он, чтобы человеческое достоинство страдало. Нешто достоинство в заднице помещается? Небось помнишь, как в Тарханах: попробуй кого на конюшню послать – сейчас затрясется весь, зубками заскрипит, побледнеет, того гляди родимчик хватит. Я тронуть никого не решалась, совсем разбаловались люди. А что поделать, знаю, что порчу дворню, а молчу. Слово наследника – закон. Да тебя‑то это не касалось, ты ж мамка, тебя сроду никто пальцем не тронул.

*Входит крестница* ***Аграфены*** *с подносом, уставленным чашками, кувшинчиками, вазочками, тарелочками со всевозможной сладкой снедью, ставит на столик перед старушкой и ускользает, опасливо покосившись на барыню. Налила Аграфене большую рюмку рома и себе плеснула немножко в серебряную чарочку.*

Давай выпьем за нашего баловня! *(Пьет и по русскому обычаю опрокидывает пустую чарочку, мол, капли, не оставила.)* Как я его в детстве баловала! Иной бы злодеем вырос. Ребенок – личинка человеческая, чем к нему добрее, тем он хуже. Забияки, охальники, разбойники из самых забалованных выходят. Родители трясутся над дитятком, как я над внучком, и он смекает в маленькой своей душе: я самый важный, самый главный, золотой и бриллиантовый и все по‑моему должно быть. И выходит он в широкий мир, а жизнь под него не стелется ковром, у людей свои интересы, ему вперекор. И пошло чудить такое вот занеженное дитя, силком брать, что само не идет, куражиться и своевольничать. А Мишенька не такой. Он, правда, горяч, вспыльчив, но и отходчив, а уж добр, добрее не бывает. И чем человек проще, тем он к нему жалостливей. Мишеньку многие не понимают, думают, колючий, злой, нелюдимый, а он застенчивый. Он всю душу готов раскрыть, да ведь наплюют туда, нахаркают. Он это чует и замыкается. А кто его глубже знает, тот за Мишеньку в огонь и в воду. Что Раевский, что Монго Столыпин, что Алексей Лопухин, что Юрьев. И Мишенька за друзей жизнь отдаст. Он и с девушками умеет дружить – сама деликатность, сама сдержанность… Заговорила я тебя? А ты терпи и внимай. Сласти чаек, ромцу подливай, не жалей. *(Вдруг, будто осердясь.)* Да, я одна говорю, а ваше рабье дело слушать, молчать и улыбаться. А вот коли случится то, чем Мишенька иной раз, гневаясь на меня, грозит: вы наверх, а мы на дно, – ты будешь говорить, а я помалкивать да улыбаться. А про себя небось проклинать трепуху неуемную. Молчи, знаю, что не проклинаешь. Ты верная Личарда, сама от вольной отказалась.

*Входит* ***слуга*** *и протягивает Арсеньевой записку.*

*(Читает записку.)* Еще бы не пришел! Гордым больно стал Ванька Джалакаев, его хор сейчас нарасхват. Но помнит, душа цыганская, кто его графу Шереметеву рекомендовал. С Шереметева и начался его карьер. Ах, связи, связи – в Петербурге они в а яснее богатства, знатности, всех талантов. А чем‑чем – связями господь бог не обидел. Можем мы кое‑что в северной нашей Пальмире. *(Слуге.)* Ряженые явятся – доложи. Шампанское – охладить к пяти. И помельче лед для устриц накрошите. Раньше чем на стол подавать, не открывайте, а то вся свежесть пропадет. Тут гурманы такие соберутся! Сам‑то Мишенька в еде не больно разборчив, хоть и напускает на себя вид знатока. Хорош знаток! Его раз булочками с опилками накормили, а он и не заметил. *(Слуге.)* Чего уставился, как филин? Сказано – ступай! *(Слуга уходит. Арсеньева обращается к Аграфене, глядящей на все с каким‑то испуганным недоумением.)* Обед я даю Мишеньке и его друзьям. Опять, понимаешь, у нас ссора вышла. Знаю, о чем думаешь, не то, не то! О Юрии Петровиче Лермонтове, как помер, больше речи не заходило. То ли простил мне Мишенька отца, то ли скрыл обиду на дне души – не знаю. Хотя если подумать хорошенько, то и в нынешнем разладе мелькнула отцова тень, как это мне раньше в голову не пришло? Но давай лучше по порядку, а то я все путаюсь. Беспокойно мне чего‑то. А вроде бы чего беспокоиться? Со стихами на смерть Пушкина обошлось, Мишенька мне мою дурость, об Александре Сергеевиче сказанную, простил, сам записку прислал, такую добрую, ласковую. И хоть я во всем виновата, он себя корит за несдержанность, грубость. Да какой он грубый, может, самый нежный человек на свете. Мало кто его настоящего знает. Друзья знают, Варенька Верещагина, Маша Лопухина и та голубоглазая девочка, в которую он еще мальчиком влюбился, знают. Боже мой, как смотрел на нее Миша своими черными глазищами, как следил за каждым движением, а заговорить не решался. А она все понимала, девятилетняя женщина, уж так все понимала, и кокетничала с ним, и поощряла, и тут же напускала на себя презрительный вид, а он, лопушок бедный, не отважился с ней познакомиться, только вздыхал ужасно и руку к сердчишку прижимал. Вот когда в нем душа пробудилась. Он после, уже взрослым, ей стихи посвятил. До чего ж памятливый, как все в нем глубоко!.. О чем бишь я? *(Арсеньева явно думает о чем‑то другом, мучительно‑тревожном, и это путает ее речи.)* Ах да, обед я даю в честь примирения со своим суровым внуком. Но ведь скучно ему вдвоем со старухой пировать – ни выпить, ни покуражиться, ни о скабрезном потолковать. У гусар это принято. Я его с дружками пригласила. Посижу с ними для порядка, винца английского легкого пригублю да и уйду к себе. А молодежь пусть развлекается. Хор цыган заказала, лучший в Петербурге, и знаешь, старая, чего я еще придумала? Не праздновали мы святок в нынешнем году, да и какие святки в Петербурге, а Мишенька больше всего этот праздник любил, особенно ряженых, их песни, пляски, все сумасбродство. Он часто жаловался, что не было у него в детстве сказок, не было Арины Родионовны, как у Пушкина, кумира его и бога, мол, плохо это для поэзии… Ты, чертовка, почему сказок для моего внука жалела? Ишь молчунья! Небось растеряла память, при барах обретаясь?.. А песни Миша слушал и сам певал и наигрывал, и на рожке, и на флейте, и на чем хочешь… Опять меня занесло… Да вот, надумала я в шальной моей голове ряженых пригласить. Пусть, когда господа охмелеют и от цыганских плачей устанут, ворвется шайка смазливых, пакостных рож и позабавит их песнями и всяким фокусничаньем. Вроде не ко времени, да у кого средства есть, тому в любой день святки. А мне надо Мишеньку развлечь. У него нервы вовсе испорчены. Разным я его видела: и когда за отца переживал, и когда в Московском университете неприятность вышла, и когда Катька Сушкова его мучила, но таким, как сейчас, не видела. Пуля, что Пушкина убила, и скрозь него прошла. Заболел он нервной горячкой, после все хотел Дантеса вызвать и отомстить за Александра Сергеевича. Но государь упрятал француза на гауптвахту. И слава богу, а то беспременно бы Дантес и второго русского поэта уложил. И не потому, что наши стреляют плохо или отвагой не берут. Оба бесстрашные и стрелки отменные. Не могут они первыми в человека выстрелить, даже в злейшего врага. Вон Пушкин сколько раз дрался, а ни одной дуэли не выиграл, все в воздух палил. И Мишенька такой же. Им жаль чужую жизнь, а их кто пожалеет! Нельзя поэтам на дуэлях драться. Никого на свете Миша так не любил, никому не поклонялся, как Пушкину. Молился на него. А когда впервые в свете столкнулись, будто онемел и ничего своему идолу не сказал. Потом горько сожалел. Но как же обрадовался, когда ему передали, что Пушкин «Бородино» похвалил. «Далеко мальчик пойдет!» – доподлинные слова Александра Сергеевича. И Мишенька жил мечтой о новой встрече. И что Пушкин ему главное слово скажет. Не дождался. Дантесова пуля ту мечту убила. *(Утирает глаза. И, разозлившись на себя за слабость, говорит иным, деловым тоном.)* А кружевниц ты привезла? *(Аграфена кивает. Арсеньева звонит в колокольчик и приказывает явившемуся слуге.)* Девок‑кружевниц приведи!.. Поди, забаловались там без хозяйки. Ну, я их приструню. Заставлю новые узоры плести.

*Появляются кружевницы:* ***Черные очи, Карие очи, Синие очи и Сероглазка*** *. Приседая, здороваются с барыней, потом становятся рядком.*

Слушайте, девки, мое наставление. Здесь вам не Тарханы, а столица. Народ охальный, хитрый. Наговорят, наобещают с три короба и последнее отберут. Держи ушки на макушке. И чтоб без шашней. Я этого не потерплю. Зарубите себе на носу. И к гостям Михаила Юрьевича на глаза не суйтесь. Гусары – сорвиголовы. А к самому баричу, коли по старой памяти в деловую заглянет, поласковей, потеплей будьте. Песню спойте, он страсть деревенские напевы любит, спляшите, авось ноги не отвалятся. И всякое его желание предупреждайте, чтоб еще подумать не успел, ан уже сделано. Понятно?

*Девушки, перемигиваясь и пересмеиваясь, дружно кивают.*

Ладно, ступайте, негодницы! *(Слуге.)* Вели их китайским чаем напоить, с вареньем и пряниками.

*Девушки уходят.*

И откуда такая стать? Трескают картошку, капусту, огурцы, а стройны, как нимфы. Хороша наша пензенская порода! Ну как, нахлебалась? Давай и за дело. Подсоби‑ка! *(Вдвоем они извлекают из шкапа туго набитый мешок.)* Велела я к твоему приезду собачьей шерсти набрать. Свяжешь Мишеньке жилетку. Собачья шерсть самая, говорят, для тела полезная. И теплая, и мягкая, и целебная. Я все за его здоровье опасаюсь. Помнишь, какой он хворый был? И золотухой, бедный, мучился, и простуды бесконечные, и перхал, и легкими недужил. Болтали кумушки: не жилец. По правде, я и сама, грешным делом, думала, что он в мать свою покойную пошел. Уж я ли не тряслась над моей ненаглядной, а сгорела от злой чахотки в двадцать три года. Злой рок надо мной, Аграфена, все, кого люблю, рано уходят. Мужу и тридцати пяти не было, как он в одночасье помер. Знаю, пустили сплетни, будто яд принял, оттого что я любовницу его Мансыреву в дом не пустила. Враки! Я, правда, велела ей передать, что осрамлю перед всем обществом, коли на мой порог сунется. Спектакль у нас любительский был: «Гамлета» играли. Ну, Михаил Васильевич все выбегал на крыльцо пассию свою встретить. Не знал, что я нарочного выслала и тот ее в пути перехватил. Лютые крещенские морозы стояли, он потный весь, его и прохватило. К тому же переволновался, вина выпил и, как могильщика в пятом действии отыграл, прошел в гардеробную, тут ему карачун и приключился. А что там пузырек пустой нашли, так он, видать, капли сердечные принял. Какое еще самоубийство? Никем не доказано. Мы хоть и ссорились, а помнили о прежнем счастье, он меня, бывало, на руках носил, даром что я рослая, налюбоваться не мог. И если б тогда не помер, наладилась бы наша жизнь. Но все в руце божьей. И дочка судьбу мою повторила. Вышла по страстной любви, да, хорош был Юрий Петрович Лермонтов, ничего не скажешь, но ветреник. С крепостными девушками баловался, после наложницу завел, компаньонку жены Юльку Ивановну. Ее из тульского имения Арсеньевых прислали на исправление, она там юного моего родственника соблазнила. Месяца, может, не прошло, застала Машенька мужа в объятиях этой Юльки бесстыжей. Так вот она исправилась. У дочки не было моей силы, я все выдержу, зашатаюсь, упаду да опять на ножки встану, недаром меня Марфой Посадницей кличут. А та слабогрудая, деликатная, нежная натура. Стала чахнуть. Юльку‑то я из дома выгнала, да уж без пользы. Сжигала Машеньку чахотка. Редко‑редко скользнет с кровати тенью бледной к роялю, Мишеньку на колени посадит и играет слабыми своими пальчиками. А он двухлетний, вроде бы и душа не проснулась, а все понимает, слушает музыку, а по щекам слезы текут. Так они сидели и оба плакали. И ведь помнит он свою маму. Из этой памяти стих родился про ангела. Летит по небу ангел и несет на землю юную душу. Но душе этой на земле не прижиться, потому что помнит она о рае.

И долго на свете томилась она,

Желанием чудным полна;

И звуков небес заменить не могли

Ей скучные песни земли.

Господи, ну можно ли поверить, что это семнадцатилетний мальчик написал? Это он о себе, о маминой музыке, которая стала для него воспоминанием о рае… Постой, старая, что с тобой? Ты плачешь? Неужто тебя так Мишины стихи тронули? Да может ли быть в подлом сословии такая тонкость чувств? Слушай ты… Аграфена, хочешь вольную? Опять предлагаю. Чего головой качаешь?.. И верно, на что тебе вольная, все одно при мне останешься. Знаешь, твой племяш, каретник Андрон, просился в отхожий его отпустить. Разрешаю. Без оброка. Завтра старосте напишу. Ни‑ни, не смей к ручке тянуться. Поклонись вежливо – и хватит… Опять я сбилась. Рада очень, что тебя вижу. Смутно мне, тревожно, всякие мысли роятся, а вылить душу некому. Мишенька вон рассердился и не заходит. А с тобой я люблю разговаривать. Ты умная. Я серьезно. Ты молчишь умно. А иной распустит язык, а дурак дураком, и сказать ему нечего. Вспомнила, о чем говорила. Бывает, заедешь на чужое поле и выбраться не можешь. Да не чужое оно, нет, мое, самое горькое поле. Как мог Мишенька, который все так сильно чувствует, простить отцу смерть своей матери, ангела, что ему о небе пела? И не только простить, а полюбить невесть за что. Он и не видал его почти, а как тянулся! Вот он, голос крови. И обижался за отца, страдал ужасно, что тот бедный и незнатный и родня его не уважает. Но я знала, в чем Мишенькина польза, и не отдала его отцу. Разве мог Юрий Петрович маленького, слабого, болезненного сыночка выходить? Мог ли воспитать его, сам в воспитании нуждающийся? Мог ли ему образование дать? Уж на что он взбалмошный был и упрямый, а и то понял, где Мише лучше будет. И смирился. Но чего мне это стоило! И у Мишеньки против меня в душе отложилось. Он сроду не признается, но меня не обманешь. Когда человек любит, такое всегда чувствует. Да пусть хоть проклинает меня, для его пользы я что хочешь вытерплю. И вот с Пушкиным тоже. Я сразу почуяла опасность. Неужто мне Пушкина не жалко, неужто я не понимаю, что он для России значит? Я через Мишеньку все про стихи узнала. Но, видя, как Мишенька переживает, стала говорить, что Пушкин сам виноват. Сел не в свои сани и вылезти из них не решился, вот и привезли они его прямешенько к гибели. «Не в свои сани не садись» – старая мудрость. Ведь и Мишенька изо всех сил к свету тянется, а не светский он человек, нет в нем ни лоска, ни угодливости, ни умения лавировать, прям и резок, доверчив и бесстрашен. Хорошо еще, просто шишки набьет, а если другой Дантес?..

И ведь ничего нового я ему не открыла. У него как в стихах: «Зачем от мирных нег и дружбы простодушной вступил ты в этот свет завистливый и душный…» Стало быть, знает и, как бабочка, сам на огонь летит. Вот что меня убивает. Не шаркун он паркетный, не красавец раздушенный, не богатырь, как Монго Столыпин, ничем для света не взял. Нужны им его ум, талант, острый язык! Мы уже знаем, как высший свет гениев ценит. Мишенька вроде и сам все понимает, смеется над своей внешностью, «чисто, говорит, армейской», горбачом Вадимом себя вывел, а в глубине души страдает и думает силой характера взять, блеском, славой. Да нешто светским красавицам ум нужен, им ус подавай. А у Мишеньки и усишки‑то жиденькие. Им рост подавай, ногу стройную, а мал и кривоног наш бедняжечка. О господи!.. Конечно, за Мишеньку любая пойдет, есть в нем для женщин обаяние, а главное – есть у бабушки поместьице нерасстроенное, кое‑что в сундуках, да и связи немалые, чего еще нынешней красавице надо? Да он о женитьбе не помышляет. Ему бы блистать и покорять. Вот Пушкин доблистался. Правда, потом Александру Сергеевичу в великую тягость стали свет и двор, да поздно, сердешный, спохватился, там жертву так просто не отпускают. Изволь платить за гордость не по чину, за независимость, за шутки колкие, за презрение к выскочкам. Род‑то Пушкиных хотя и старинный, а захудалый. Мишенька и тут с Александром Сергеевичем схож. Древо Лермонтовых скрыто в шотландских туманах, никто, кроме Мишеньки, не берет всерьез воспетого Вальтером Скоттом барда Лермонта. Сам же за худобу отца своего переживал, сам же хочет тягаться с Шереметевыми, Голицыными, Оболенскими или новой знатью, вроде Орловых, Разумовских, у тех грамота геральдическая хоть не пожелтела, да богатства несметные. Нет, надо Мишеньке держаться подальше от гостиных и блестящих залов. Вот я и думала примером Пушкина его устрашить. И как же он разгневался! За отца родного так не гневался, как за Александра Сергеевича. Веришь ли, мне даже показалось, что ударит. Конечно, никогда у него рука на бабушку не поднимется, но знаешь, Аграфена, можно ударить глазами.

Ни у кого я таких глаз не видела, как у Михаила Юрьевича. То блестят, горят, сверкают, то ночи черней, непрозрачные, тусклые, тяжелые, остановившиеся, как у мертвого. Но редко можно прочесть по его глазам, что он чувствует. С друзьями‑гусарами у него глаза всегда веселые, улыбчивые, а это вовсе не значит, что ему весело. Это значит, что ему должно быть весело, и он заставляет себя – не веселиться, тут глаз не заблещет, – а чувствовать, что ему весело. Непонятно говорю? Мне и самой непонятно. Вроде бы, коль человек заставил себя чувствовать веселье, радость или горе, – значит, это чувство им владеет. А у Лермонтова не так. У него воля громадная. Он принуждает себя, и ему по всем статьям весело: улыбка на детских губах, эпиграммами так и сыплет, бокалы залпом осушает, первый заводила и дебошир, а на самом дне лютая печаль. Не знаю, всегда ли так, во время холостяцких пирушек я его не видела, но думаю, что не ошибаюсь. Ведь гусары там, или товарищи детских игр, или студенты – разницы нету. А в обществе, особенно когда кругом молодые красивые женщины, взгляд у него вдруг станет свинцово‑тяжелым, веки припухнут и моргать забудут, и кажется, будто он за тысячу верст отсюда. Иная дура‑красавица осведомится: где вы, господин Лермонтов, никак стихи сочиняете? Он непременно колкостью ответит. А дело в том, что Мишенька **весь** в этом бале или в этой гостиной, ему до боли хочется привлечь к себе внимание, победить всех соперников, покорить всех женщин, а как?.. И вдруг станет легким, спокойно‑насмешливым, это значит, все переварил внутри, сам себя высмеял и освободил душу. Но в тот раз, когда мы с ним из‑за Пушкина сцепились, не требовалось особой проницательности, чтоб прочесть Мишенькин взгляд. Такая в нем была боль, такая обида, такой гнев, нет, хуже, ненависть. Бабушка родная с врагами Пушкина стакнулась, с теми, кто его погубил. И уж мне не объяснить было, что плачу я над Пушкиным, ненавижу его убийц, не из‑за него самого даже, а из‑за Мишеньки. Они у меня в голове путаются, думаю о Пушкине – и вижу Мишеньку, о внуке душа заболит – вижу Пушкина на снегу распростертым. Кажется, поэт должен все понимать, нет, и поэт из своих пределов не вышагнет, все мы как магическим кругом обведены, и нет нам из него хода. Ведь я урожденная Столыпина, мой род процветает, а Пушкины и Лермонтовы в загоне, значит, я из той самой светской черни. И смех, и слезы!.. Может, мы бы еще нашли общий язык, да тут, как на грех, зашел Николай Столыпин, он в министерстве иностранных дел служит, у графа Нессельроде, злейшего врага Пушкина. И схватились кузены не на жизнь, а на смерть. Кончилось тем, что Миша велел ему немедленно убираться, а то он за себя не отвечает. Столыпин смутился, оробел: «Да он сумасшедший, его надо связать!» – ноги в руки – и деру. Пока они спорили, Михаил Юрьевич что‑то все на подоконнике черкал. После я на ковре лоскуток бумаги подобрала. Обрывок стихотворения. Начало – лучше некуда. «А вы, надменные потомки известной подлостью прославленных отцов». Это он в Николашу метил, да и во всех Столыпиных. Мой‑то батюшка на винных откупах при Екатерине взошел. С графом Алексеем Орловым компанию водил. Михаил Юрьевич не только по моим родичам вдарил, это бы полбеды, а по самым близким к трону людям. Ладно там Орловы, Разумовские, Шуваловы, у иных хоть заслуги перед Россией были, а всякие немцы, что трон окружают, они‑то вовсе рассвирепеют.

Что он с этими стихами сделал? Бросил, порвал, а вдруг в свет пустил? Тогда помилуй нас бог… Но, вишь, время прошло, он мне записку ласковую прислал, обещал прийти, я обед затеяла, цыган позвала… Авось обойдется. А нет – что ж, мне не впервой сильным кланяться. Есть ход и к Бенкендорфу, и даже к великому князю Михаилу Павловичу. Он Лермонтова стихи ценит. *(Вдруг залилась смехом.)* В какие только истории я из‑за Мишеньки не попадала! Помню, еще в юнкерах он жестокую простуду схватил. Мне донесли. Я сразу в Петергоф, где полк его стоял. Являюсь к полковнику Гельмерсону: отпустите больного домой. Он выставился на меня: «А если ваш внук захворает во время войны?» – «Ты думаешь (я ведь ко всем на «ты»), что бабушка его отпустит, где пули летают?» – «Зачем же он тогда в военной службе?» – «Да это пока мир, батюшко! А ты что думал?» И забрала я Мишеньку. Сейчас вон, говорят, с горцами сражение началось, самое время из военной службы уходить. Да попробуй уговори его! Значит, снова у нас споры и плачи пойдут, снова он на бабушку озлится. Ох, устала я, Аграфена. Чем старше Михаил Юрьевич, тем с ним труднее. Никогда не знаешь, что он выкинет. Может, зря я этот пир затеяла? Он еще по Александру Сергеевичу скорбит. Поди, разгневается на цыган и на хари мерзкие? *(Звонит в колокольчик. Появляется торжественный камердинер* ***Никита*** *.)*

Никита, как цыгане явятся, отведи их в малые покои и винца им рейнского подай. И пока не позову, держи там. Понял? Ежели отменится, сейчас расчет сделаешь, как за полный вечер. А ряженых собери в людской. И тоже без моего приказа не пускай. Никак внизу дверь хлопнула? Неужто Мишенька так поспешил? Ангельчик мой! Господи, а я и не одета. Аграфена, давай скорее платье, знаешь, бархатное с шитьем…

*Снаружи слышится какой‑то шум. Голоса. Никита выходит и почти сразу возвращается с конвертом в руке. Поклонившись, отдает барыне.*

*(В сильном волнении.)* Господи, да что это? Неужто Мишенька передумал? Неужто не придет? Господи, пощади старуху. Отведи беду. Ох, как сердце колотится!

*Аграфена капает из пузырька в стакан успокоительное, подает барыне, но та резко отводит ее руку.*

Ну, Марфа Посадница, где же твоя смелость? *(Разрывает конверт.)* Ничего не вижу… дай очки, другие… *(Читает.)* «Сударыня, только из любви к поэзии господина Лермонтова, коего почитаю как нового Баркова…» Что это? Насмешка? Издевательство? *(Хочет порвать письмо, но удерживается.)* «…и чьи несравненные перлы: «Уланша» и «Петербургский гошпиталь» наизусть знаю, взял я на себя скорбное и весьма опасное для меня поручение сообщить Вам о неприятности, постигшей вашего внука». Боже мой! Это не в шутку. Это всерьез, хотя и дурак писал. «Ваш внук находится под арестом и лишен связи с внешним миром…» Господи, не оставь! Ох, чуяло мое сердце!.. «Он взят под стражу за приписку к стихотворению «На смерть поэта» и распространение оной…» Что я говорила, Аграфена? Знала, всегда знала, что не пройдет даром эта дерзость! Только обманывала себя. Обедом обманывала, шампанским, устрицами, цыганами!.. «Допрошенный графом Клейнмихелем, господин Лермонтов во всем признался и сейчас ждет решения своей участи. Видать, пошлют его на Кавказ в армию тем же чином усмирять непокорных горцев…» *(Арсеньева издает глухой стон и закрывает лицо руками. Пересилив себя, читает дальше.)* «Прошу Вас, милостивая государыня, письмо мое тотчас уничтожить. Я человек маленький, а коли сведают, что г‑ну Лермонтову услужил, полный мне фиаско выйдет…» Болтун! Фиаско ему выйдет. *(Никите.)* Кинь в печку. А фиаско‑то нам вышел. Полней некуда. Чего я больше всего боялась, то и случилось. Горцев усмирять!.. Как бы они не усмирили – пулей или кинжалом. Господи, всеблагой, не дошли мои молитвы, не тронули тебя? И чем я тебя прогневила, старуха жалкая, что отнимаешь всех, кого люблю? Ничего ты мне не оставил. Один внучек был, и того – под пули черкесские!.. *(Ударяет себя кулаком в грудь. Аграфена подходит к ней, хочет усадить в кресло.)* Отстань! Ступай в людскую: пусть всякое дело бросают и о благополучии раба божьего Михаила молятся. И чтоб поклоны клали истово. Кто шишек на лбу не набьет, задницей поплатится. *(Аграфена выходит.)* Господи, сохрани его под пулями, а уж я сама добьюсь прощения. Довольно слез, надо сильной быть, настойчивой и цепкой, как репей. Вцеплюсь в горло моим сородичам и вельможным друзьям, я старуха, мне все позволено. Сяду – не слезу, пока не вернут мне внука!..

*В дверь просовывается страшная харя.*

Кто таков? Ну и образина! Из преисподней, что ль? А, ряженые! *(Подходит к дверям и широко распахивает створки.)* Давай сюда! Не робей!

*Вваливается жуткая, как в бреду, ватага в вывороченных тулупах, в немыслимом тряпье, волосы всклокочены, у кого мукой присыпаны, у кого свекольным раствором крашены; щеки горят от бодяги; накладные усы, бороды, приставные носы, рога. В руках – метлы, трезубцы, рогожные кули на палках.*

А ну, ходи веселей, вшивая команда! Жги, не жалей сапог! Кружись, пляши, дери глотку! Всех вином напою! Никита, шампанского для дорогих гостей! А ну, наддай!..

*Оробевшая поначалу, шатия загикала, засвистала, заблеяла, завизжала и пошла выкидывать коленца в чудовищной пляске кривляний вокруг Арсеньевой, И она сама притопывает избоченясь. Понурив голову, глядит на барыню верный Никита.*

## 3

*Тарханы – имение Арсеньевой. Светелка в барском доме, служащая Арсеньевой и малой гостиной, и комнатой для дневного отдыха. Мебель красного дерева; у окна рабочий столик, за которым прилежно трудится Аграфена; к стеклу прижалась щедро облиственная ветка клена. В углу божница; над диваном большой портрет императора Николая I.*

***Елизавета Алексеевна Арсеньева*** *приметно изменилась за минувшие четыре года: голова совсем побелела, прибавилось морщин, в углах рта образовались две глубокие горькие складки. Но стан по‑прежнему прям, движения сухи и четки, голос чист от старушечьего пришепетывания. Она все еще Марфа Посадница, хотя и побитая жизненными невзгодами и вечным страхом за единственного любимого.*

*Арсеньева.* Растревожила меня графиня Ростопчина своими стихами. Уж лучше бы и не присылала. Лестно, ничего не скажешь, от доброй души написано. Она искренне Михаила Юрьевича любит, не просто любит, а преклоняется перед ним. Поэт поэта всегда поймет. Вынь‑ка вату из ушей, послушай стихи.

*Аграфена бросает на барыню укоризненный взгляд.*

Ладно тебе! Слова нельзя сказать. Знаю, что лучше меня слышишь. Только стихи другим ухом слушают… Есть у тебя такое ухо, иначе б не стала читать. Экое самолюбие у старухи!

Но есть заступница родная,

С заслугою преклонных лет

Она ему конец всех бед

У неба выпросит, рыдая.

Ошиблась графиня: не доходят до неба мои молитвы, а до земли – просьбы. Глух стал ко мне господь, а того глуше – граф Бенкендорф. Что уж там Мишенька нашкольничал – не знаю, но озлился на него граф – хуже некуда. Неужто из‑за машкерада? *(Хихикает.)* Знаешь, старая, что Мишенька отчудил? Увидел двух дам в домино, взял их под руку и стал прохаживаться. А то были царственные особы. Они не могут себя выдать, а он, плут эдакий, делает вид, будто не узнал. Все так и обмерли, граф Бенкендорф от бешенства перчатки порвал, а что поделаешь – машкерад! С Мишенькиной стороны это, конечно, шалость непростительная, но с другой стороны: или сиди себе во дворце, или терпи, коли под маской пришла. Да уж больно они к славе своей ревнивы. Иные думают, что дуэль с заносчивым Барантом, сыном французского посланника, Мишеньку подвела. Нет, тогда великий князь его под защиту взял, мол, негоже русскому офицеру перед иноземцем тушеваться. А тут все Мишенькины покровители враз отвернулись. Михаил Павлович давно сердит был, для него воинский порядок и дисциплина на первом месте, а у внучка то ворот мундира опущен, то эполеты не надеты, то сабелька не подвязана, то еще какое самовольство. Другие же Бенкендорфа страсть боятся, а он Мишеньке – первый враг. Он свое призвание в том видит, чтоб русских поэтов преследовать. Что делать? Одно остается: пасть в ноги государю. А ну‑ка и он не снизойдет? Мишенька, когда о прошлый год в Тарханах гостил, признался, что ему на Кавказе долго не выдержать. Я, говорит, на выслугу надеялся, на прощение, но чувствую, что все для меня закрыто. К Владимиру за храбрость представили – отказали, к золотой сабле – отказали, в чине не повышают. А нынче Монго Столыпин отписал: решено и вовсе Мишеньку в деле не использовать. Храбрость его отчаянная всем известна, так, чтобы не отличился, пусть в сражениях не участвует. С одной стороны оно и лучше: горская пуля меткая, с другой – нешто только от чечни погибают? Выходит, его там как декабриста держат, даже хуже, тем выслуга не заказана. А надзор – и тайный, и явный – за Мишенькой ничуть не слабже. Да разве согласится он на такую жизнь? Он и раньше говорил, что опротивела ему эта война. Но в боевой потехе он хоть забывался, а бездельничать возле войны – какой толк? Сорвется Мишенька, беспременно сорвется. Раньше я люто сражений боялась, а сейчас не знаю, что для Мишеньки хуже – звон оружия или тишина. Плохо, плохо все обернулось, хуже некуда. Не ждали мы такого. Знаешь, в последний свой приезд в Петербург он самым модным человеком был. У него стихи вышли, роман. С ним все носились: и знаменитые писатели, и мыслящие люди, и первые светские дамы прямо нарасхват мой голубчик шел. И радовался он, сердешный, порхал, как бабочка, доверчивый, бесстрашный и наивный… А ведь успех в свете – палка о двух концах. Прощают тем, кто знатен, влиятелен или сказочно богат. А коли ты личными достоинствами взял, сразу являются завистники и хулители. Пошли клеветы и наветы, доносы по начальству. Кто на эпиграмму обиделся, кто жену – свою или чужую – приревновал, третьему что нож вострый – успех мальчишки‑офицерика, а еще вспомнили, что он в опале, в кавказской ссылке, а ведет себя в Петербурге, как светский лев, и ни перед кем не заискивает, не стелется. Пушкина припомнили со старой злобой. Одного, мол, сбыли, другой объявился. Собралась черная туча над Мишенькиной головой, и грянул гром. Прочь из столицы на Кавказ, в армию, но не в дело, а под надзор. Как жизнь переменилась, Аграфена! Помнишь, когда Мишеньку за стихи арестовали и еще юнкер‑дурак письмо прислал? Достало у меня сил Мишенькину участь смягчить. И позже, когда с Барантом дрался. Дрался!.. Барант ему бок и руку шпагой проткнул, после пулей убить хотел, а Мишенька в воздух выстрелил. Видать, Баранту Дантесовой славы захотелось. Но ему ничего не было, а вся кара на Мишеньку пала. Опять немилость, опять ссылка. Кабы не великий князь, могли и в солдаты упечь, с лишением дворянства и всех прав состояния. Вот тогда уже я поняла, как Мишеньку ненавидят – двор, власти, вся светская чернь. Ох, худо, ох, страшно!.. И чего я здесь сижу? Чего жду! Под лежач камень вода не течет. Надо в Петербург ехать, Мишеньку спасать. Неужто государь не склонит слух к просьбе старой дворянки? Я ведь не только Арсеньева, я Столыпина, наш род всегда опорой трона был. Мы верно царю служили, с первыми вельможами водились, от нас не отмахнешься!.. *(Подходит к киоту, тяжело опускается на колени.)*

Господи, всеблагой, умилостиви государя!.. Господи, защити и помилуй внучка моего единственного!.. Никого ты мне больше не оставил, господи!..

*Аграфена тоже молится.*

*(Поднявшись.)* Ну, хватит богу надоедать, а то еще разгневается. Слушай, Аграфена, бог меня сейчас надоумил, вроде как видение наслал, а не женить ли Михаила Юрьевича? Найти ему невесту, знатную и со связями, чтобы родня перед государем заступилась. Михаил Юрьевич не безродный, не нищий, он в славе и собой молодец. Чем не жених? Пора ему остепениться. Он о журнале думает, о серьезном литературном труде. В гусарской компании не больно потрудишься: пиры, развлечения, романы, шалости, а потом сожаления о пропавшем без толку времени, грусть и нежелание жить. А тут – жена‑красавица, добрая и умная, детишки. Михаил Юрьевич страсть детей любит. Он дочери Вареньки Лопухиной, своей любви единственной, чудные‑пречудные стихи посвятил!.. Ах, господи, неужто возможно такое счастье – увидеть Мишеньку женатым, спокойным, занятым серьезными думами и трудами? И чтоб забылись, как дурной сон, Кавказ, черкесы, армейская служба и пустое молодечество, недоброхотство начальства и вечный топор над головой. Господи, нешто я о чем дерзком мечтаю? Все люди так живут, а для Мишеньки это недосягаемое счастье. Только вот хочет ли он такого счастья? «А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой!»

*Со двора доносится тихая песня – лермонтовская колыбельная, которую поет простым голосом крестьянская женщина над своим ребенком.*

Спи, младенец мой прекрасный,

Баюшки‑баю.

Тихо смотрит месяц ясный

В колыбель твою.

*Арсеньева прислушивается. Подходит к окну, выглядывает наружу.*

Стану сказывать я сказки,

Песенку спою;

Ты ж дремли, закрывши глазки,

Баюшки‑баю…

*Арсеньева.* Слышишь?.. Чужая баба поет, не тарханская и не Михайловская. А спроси, откуда песня, скажет, народ сочинил. Вот так‑то! Я из‑за Михаила Юрьевича многое понимать стала, о чем раньше и не думала. Стихи, признаться, в грош не ставила, так, забава, пустяк. Ну, песня хорошая – другое дело, да там напев главное. А теперь знаю: в стихах страшная сила. В них такое выразить можно, что простой речью нипочем не скажешь. «Демон» – какая силища, а начни пересказывать – не демон, а домашний черт получится, каким девок пугают. Я понимаю теперь, почему Мишенька все в людскую шастал и в девичью, когда еще не знал, для чего девки нужны. И почему любил с деревенскими ребятишками возиться, в войну играть, а после кулачные бои устраивать. Из этой потехи «Песнь о купце Калашникове» родилась. Поэт у народа речь берет, а после народу же возвращает. Только лучше, чище, красивей. Странное дело, Аграфена, вроде бы я Мишеньку воспитывала, я его под арсеньевский, под столыпинский уклад ломала, а сейчас мне кажется, что он меня обломал. Нет, «обломал» плохое слово. Я не обломанное дерево, я еще ветвистей стала. Я и раньше не такой была, какой меня представляли. Родня думает, что во мне рано все женское угасло. Нет, дело прошлое, и я тебе признаюсь. Это уже после смерти мужа неверного было – полюбила я дворового человека Ивана Яковлева. Он на Лушке красивой хотел жениться, а я не позволила. Помнишь, он меня в церковь на шарабане возил? Я тогда лошадей боялась, и Яковлев сам впрягался, заместо жеребца, и духом к церкви доставлял. Но почти всегда оземь грохал. Он нарочно чеку вынимал, и колесо отваливалось. Всех удивляло, что я его не наказывала и даже не ругала. Другому кому сразу б велела полголовы обрить, а этому все с рук сходило. Жалко мстил мне бедняга, что с Лушкой разлучила. А когда дочка преставилась и Мишенька на руках моих остался, вся страсть на него перешла, и Яковлев из шарабана выпрягся. Истинно, страсть, какую я и к мужу моему не испытывала, хоть влюблена была без памяти, и к черту глазастому Ваньке Яковлеву, которому жизнь разбила. Я за Мишеньку всю кровь из себя по капле отдам, на костер взойду. Я страшной жизнью живу, но до краев полной. Нет на свете никого несчастнее меня, нет, наверное, и никого счастливей. Любая весточка от него – счастье, стихотворение новое – бал души, облачко над его головой – мне буря. Во всем я обобрана: в женской доле, в детях, а могу сказать о себе, что жила, а не тлела. И я свою судьбу ни на какую другую не променяю. Будь Мишенька просто молодым человеком, каких тринадцать на дюжину, я все равно б любила его без памяти, но разве может мое сердце не цвесть, когда его гением называют? Вот вам и золотушный, вот вам и сутулый, вот вам и кривоногий. Монго Столыпин – красавец писаный, а если его и вспомнят, так только потому, что в Мишенькиных друзьях ходил. Ладно, раскудахталась! Лучше о деле думай. Женитьба, конечно, выход, только вряд ли кто за опального дочь отдаст. Нет сейчас таких людей. Робкий век, рабьи души. Нет, как ни крути, а надо прощение вымолить. А потом уже о невестах думать. Надо, чтобы он в Петербург вернулся, в отставку вышел, журнал завел, доказал властям, что уже не мальчик, а степенный муж, и тогда… Скажи, Аграфена, только честно: видишь ли ты Михаила Юрьевича угомонившимся, солидным в речах и поступках? Я, по правде говоря, не вижу. Он сейчас школьничает почище, чем в юнкерском училище, только поэм скабрезных не сочиняет. И чем ему грустнее, безысходнее, тем больше проказничает. Не хочет, чтоб люди знали, что у него внутри. Никому он не позволяет в себя заглядывать, даже мне. Но я‑то и без позволения все вижу. За тысячи верст вижу. И знаю, что надо мне в Петербург поспешать. И так сколько времени потеряно. Бог не оставит меня. Государь суров, строг, но небезжалостен. *(Арсеньева звонит в колокольчик. Входит камердинер Никита.)*

Никита, вели возок готовить. В Петербург еду. Со мной – Аграфена, слуга Василий, кучером Никодим. А ты соберешься не спеша, с толком, как следует, и за мной следом. Я тебе подробную инструкцию оставлю. Ступай!

*Никита выходит.*

Нахвасталась я тебе, что полная моя жизнь Слишком полная. Устала я. Душа во мне устала. Сердце устало. Косточки устали. Мне ж под семьдесят, а Мишенька меня гоняет, как девку молодую. То в Петербург, то в Тарханы, то назад в Петербург. А я ведь по‑старому лошадей боюсь. Мне б полежать, отдохнуть, понежиться, нет, только и знаешь, что из очередной беды его вызволять. Пиши этому, пиши другому, ищи встречи с третьим. Клянчи, моли, грози, плачь, заслуги предков поминай, свою старость и немощь. Нельзя ж так! Дай мне хоть немножко покоя, внучек, ослабь хомут, отпусти вожжи, устала лошадка, ох как устала старая кляча! Мне давно на живодерню пора, а я все везу, везу, с горы на гору, ноги сбиты, холка в крови, спина изъедена… *(Вытирает слезы.)* А иной раз закроешь глаза, размечтаешься: послал господь чудо, и все само устроилось. Не знаю уж как, да ведь бог все может, коли захочет. Вдохнет добро в грудь Мишенькиных врагов, и отпустят они ему его бедные вины. И явится он – загорелый, возмужавший, спокойный, радостный…

*С улицы слышится колокольчик.*

Господи! Аж сердце екнуло. Кого это принесло?.. Не хочу никого видеть. Пойди глянь…

*Входит слуга и протягивает Арсеньевой конверт.*

Письмо? Откуда?.. Подай очки! Что‑то страшно мне стало. *(Дрожащими руками надевает очки.)* Мишенькина рука. Слава те, господи! И чего я, дура, так перепугалась? *(Разрывает конверт.)* «Дорогая бабушка, пишу Вам с того света. Когда Вы получите это письмо, меня уже не будет в живых…» Что это с ним? Кахетинского, что ли, перебрал? Нешто можно так шутить?.. «Завтра у меня дуэль с Мартыновым, Мартышкой, черкесом с большим кинжалом. Сам виноват; не шути с дураком, нарвался на вызов. Стрелять я в него не стану, а он выстрелит и не промахнется. Я понял по его злобному взгляду. Письмо это перед самой дуэлью передам Монго…» Свят, свят!.. Нет, не буду дальше читать. Не для меня такие шутки… Да тут еще записка вложена. От Монго, узнаю его лапу. *(Читает.)* «Я подлец – недоглядел Мишеля. Он бит на дуэли…»

*Арсеньева стоит недвижно. Аграфена кидается к ней, хочет поддержать.*

Поди прочь! Я – Столыпина. Нас с ног не собьешь. *(Падает как подкошенная)*

## 4

*Та же комната через несколько часов.* ***Арсеньева*** *лежит на кушетке, укрытая пледом. Но вот она зашевелилась, открыла глаза, попыталась встать, но слабость повергла ее назад.*

*Арсеньева* (чуть слышно). Помоги встать‑то…

*Аграфена приходит на помощь своей барыне. С Арсеньевой произошла разительная перемена, она превратилась в дряхлую старуху. Исчезла осанка, согнулась спина, обвисло, почернело лицо. С белыми волосами, в длинной белой рубахе, она похожа на привидение. Аграфена накидывает ей на плечи халат.*

*(Далеким голосом.)* Какой сон страшный мне приснился: Мишенька под горой лежит, а над ним ворон кружит. К чему бы это? К болезни или… Постой, ты плачешь?.. *(Сжимает головы руками.)* Значит, это правда? И не приснилось?.. *(Потерянно.)* А как же я живу еще?.. Разве я имею право жить? *(Подходит к киоту.)* Ответь, господи! Что ты все молчишь? *(Зажегшимися темными глазами глядит в равнодушное лицо бога.)* Открой свой замысел. Забрал молодого мужа, дочь чахоткой спалил, внука злодею под ноги швырнул. Зачем ты отнял у земли Лермонтова, господи, лучшее твое создание, твой самый драгоценный дар людям? Неужто ты так скуп, боже? Дал и сразу забрал. Ты не меня одну, ты всю Россию осиротил, отнял ее звонкий голос. Зачем ты так мучаешь детей своих? Или сам не ведаешь, что творишь?.. И ты, заступница, где милость твоя? Я ли не молила, ты‑то ведь знаешь, каково сына терять! Может, слаба стала? Что же тогда сыну или мужу своему словечка не замолвила?.. Я богохульствую?.. Ладно, пусть хоть раз услышат правду цари небесные. А кто там истинно царь, поди разберись. Небось не бородатый старик и не сын его, а тот, о ком Мишенька поэму сочинил. Нету у меня больше бога, умер мой бог!.. Аграфена, помоги снять образ‑то. Пусть его в каменную церковь отнесут. Мне он не помог, может, кому другому поможет. *(В божнице остается четырехугольная пустота на месте снятого образа.)*

Письмо… письмо Мишенькино где?

*Аграфена подает ей письмо.*

Никто с того света писем не получал, а мне пришло. Никому его не дам, в могилу со мной ляжет. *(Читает.)* «Милая бабушка, не убивайтесь слишком по мне. Жалеть можно того, кто цепляется за жизнь, а я не цепляюсь. С меня хватит. Хватит злобы, клевет, преследований, тупой жестокости одних, рабьего смирения других, хватит отечественной духоты. Я уже не хочу ни славы, ни Петербурга, ни новых испытаний страстями. Я все узнал, прожил не одну, а несколько жизней, с меня довольно. Теперь я всегда буду с Вами, милая бабушка, больше не надо за меня бояться, просить, умолять, хлопотать, со мной уж ничего плохого не случится. И ни в чем, ни в чем себя не упрекайте. Вы сделали для моего счастья больше, чем это в силах смертного человека. Но что поделаешь, если у Вас такой нелепый внук. Простите меня, милая, родная моя, любимая, последняя мысль будет…» *(Голос Арсеньевой пресекается.)* Что это? Никак ослепла?..

*Аграфена подходит и приподымает ей веки. Она отталкивает руки старушки и сама держит дряблую кожу.*

Веки от слез ослабели. А хоть бы и не видеть… Не видеть, не слышать, не говорить – ничего не надо. Уйти бы скорее. Уйти, а убийцу Миши жить оставить? *(Она встает, и что‑то от былой стати появляется в ее согбенной фигуре.)* Как же так вышло, что никто за Мишу не заступился? Ведь это ж не дуэль, а убийство. И Монго Столыпин хорош! Еще рыцаря из себя корчит. Как же он допустил?.. Ну, ладно – дворянская честь… Хотя какая честь в такой дуэли? Он же видел, что Мишенька не хочет стрелять, значит, это убийство. Почему не пристрелил он Мартынова, как бешеную собаку? Не при‑ня‑то!.. Так вызови его за друга! Вызови и убей. Там же еще секунданты были. Никто, поди, и не пикнул. Трусы они, что ли, или дураки отпетые? Михаил Юрьевич за Пушкина сразу вступился и кинулся Дантеса искать. А Мартынова и искать нечего было, стоял перед ними, обагренный кровью. Ничтожные друзья, ничтожные души! Мишенька всех насквозь видел и жалел в их ничтожестве. Великан среди карликов. Даже убийцу своего жалел. Но я‑то не жалею. Раз нет мужчины, чтобы отомстить, я сама негодяя вызову. Дрались и раньше женщины на дуэли. Я русская дворянка, хорошего рода, обязан Мартыш проклятый мой вызов принять. Не примет – оскорблю публично, в рожу наплюю. Все равно, откажется от поединка – так прикончу. Он же стрелял в беззащитного. *(Снимает со стены старый дуэльный пистолет, держит его двумя руками, пытается поднять, но «кухенрейтер», чуть ли не екатерининских времен, тяжел ее слабым рукам.)* Небось как увидит дуло пистолета, сам за другой схватится. Такой за шкуру свою и старуху застрелит. Только я ему не дамся, я его раньше расшибу. *(Пытается взвести курок и роняет пистолет.)*

*На шум поспешно входит камердинер Никита.*

*Арсеньева.* Чего уставился? Подними. Не по руке мне он. А ведь молода была, стреливала из пистолета мужу на потеху. Да еще как метко стреливала. Не драться мне с Мартыновым. Ну, подыму я пистолет, а прицелиться все равно не смогу. Не увижу злодея. Кто же отомстит за Мишенькину смерть? Монго?.. Кабы хотел, сам бы догадался. Видать, за карьеру опасается. С дуэлянтов строго спрашивают. Значит, и с Мартынова спросят? А он и так в отставке. В деревню сошлют. Велика кара! В поместье своем будет сидеть, вином и яствами тешиться, девок щупать и горюшка не знать. А потом его простят, появится в свете, будет интересничать, как же – второй Дантес! Ему небось многие руку пожмут. Потом женится, волчья сыть. Детей‑мартышек наплодит. А лермонтовское древо под корень срублено. Неужто это ничтожество, ноль на ножках будет жить да еще похваляться своей отвагой? Вся кровь свертывается, как подумаешь!.. (*Взгляд ее падает на портрет императора Николая I.)* Вот кто за Михаила Юрьевича отомстит! *(Подходит к портрету.)* Отмщенье, государь, отмщенье! Покарай злодея, великий государь. Столыпины верой и правдой престолу служили и бились за царя и отечество, живота своего не жалея. Покарай убийцу, государь. Слава русская – твоя слава. Худо, что на твоей мантии кровь лучших поэтов русских. Сотри ее. Бог с ними, со Столыпиными. Вся их служба одной лермонтовской песни не стоит… Я знаю, ты гневался на Лермонтова, да не по злобе он шалил, от избытка молодых сил. Двадцать шесть, всего двадцать шесть лет ему было, разве можно с него так строго спрашивать? Он лишь становился мужем и не стал… Накажи Мартынова, государь, лиши его жизни, или в рудники сошли, или в солдаты без выслуги. Ты умеешь карать, государь. Я еду к тебе за справедливостью. *(Камердинеру.)* Вели запрягать. Сегодня выедем!

*Никита (с возрастающим волнением слушал страстную мольбу своей барыни, его благообразное кроткое лицо натекло темной кровью)* . Нет!.. Нет!.. Никуда ты, матушка, не поедешь!

*Арсеньева* (*потрясенно* ). Ты что?.. Ты заговорил, когда тебя не спрашивали? Да еще прекословить вздумал?..

*Никита.* Сто лет молчал, а сейчас скажу. И что хочешь со мной делай. *(По лицу его текут слезы.)* Нечего тебе в столице делать. Михаила Юрьевича пулей убили, а тебя стыдом убьют. Не хотел показывать… Но коли так… читай! *(Протягивает ей письмо.)*

*Арсеньева* (*растерянно* ). От племянника твоего?.. Помню! Мишенька ему протежировал. Вольную выпросил. В университет послал. (*Читает.)* «…когда же царю донесли о гибели Михаила Юрьевича, он сказал: «Собаке собачья смерть»…» Как ты посмел, холопья душа? Да я с тебя живьем шкуру спущу. Аграфена, кликни конюхов!

*Никита.* Не надо. Сам пойду.

*Арсеньева.* Нет, стой!.. Постой, Никита… Ты любил Мишу, и племянник твой любил. Не мог он зря написать. Да и кто осмелится клеветать на государя? Значит, ведомы эти слова в Петербурге… Боже мой!.. Царь это о Лермонтове сказал, об убитом. О поэте великом. Экая злоба низкая!.. Теперь все понятно. Знал Мартынов, кому его выстрел угоден. Будто повязка спала. Вольно же тебе, царь Николай Романов, без капли романовской крови, так с подданными своими обращаться, но уж не взыщи, что мы с тобой по‑свойски обойдемся! *(Подходит к портрету царя и с неожиданной в ее старом теле силой срывает со стены.)* Я тебе больше не подданная. И весь род наш убийце коронованному не служит… *(Растерянно.)* Какой род? Арсеньевых? Да кто они мне и кто я им? Столыпины? Если уж ближайший друг и родич предал… Да и какая я Столыпина? Я – Лермонтова! Спасибо, внучек, за подарок твой посмертный, дал ты мне истинное имя. С тем и останусь навсегда при тебе – последняя Лермонтова. Развязались все узы, нет у меня ни царя небесного ни царя земного. *(Никите.)* Собирайся в Пятигорск за телом Михаила Юрьевича. Останки его фамильный склеп примет, а душу – Россия…

## 5

*Тот же архивный подвал, что в прологе.* ***Архивариус*** *на своем обычном месте. Входит* ***Дубельт.*** *Следом за ним* ***два жандарма*** *вносят толстенные папки, кладут на стол и удаляются.*

*Архивариус вскакивает и угодливо кланяется.*

*Дубельт* (приветливо). Здравствуйте, почтенный Павел Николаевич. Садитесь, садитесь!.. *(Разглядывает его с легким неудовольствием.* ) Вы что‑то осмелели, не икаете, не дрожите… Ну вот, дело Пушкина окончательно завершено. Самое длинное дело в нашей практике. Собственно, теперь это как бы два дела в одном – Пушкина и Лермонтова. Тем больше пищи для любознательного ума. Государственная телега скрипит, но катится.

*Архивариус подсовывает Дубельту какие‑то листки.*

Фи, какая безвкусица!.. Черная рамка, траурный шрифт… Можно подумать, умер сановник или генерал. А всего лишь из списков Тенгинского полка вычеркнули ссыльного офицерика. Господа литераторы ни в чем не знают меры. К тому же общеизвестно отношение государя… Это дерзкий вызов.

*Архивариус, тихонько похихикивая, кладет перед ним другую писанину.*

А, знакомые инициалы! Чахоточный господинчик возводит Лермонтова в гении? И что это за намеки?.. Совсем распустились! Печальные примеры ничему не учат. Придется уделить особое внимание этому борзописцу. *(С досадой.)* Так мы никогда не закроем проклятого дела!

*Архивариус* (*сиплым голосом* ). Всех не перебреешь.

*Дубельт* (*потрясенно* ). Что‑о? Вы что‑то сказали?

*Архивариус* (*громче* ). Всех не перебреешь!

*Дубельт.* Архивная сырость разъела вам мозги, уважаемый.

*Архивариус* . Никак нет! Парикмахер у нас бритвой зарезался. И записку оставил: «Всех не перебреешь».

*Дубельт с ужасом смотрит на развеселившуюся «архивную крысу».*